



В. В. РОЗАНОВ

По поводу новой книги о Некрасове

Не тростник высок колыхается,
Не дубровушки шумят,
Молодецкий посвист слышится,
Под ногой сучки трещат...

О Некрасове появилась новая книга, г. В. Евгеньева, начало еще незаконченной монографии. Ему же, несколько лет назад, посвятил почти предсмертный свой труд академик А. Н. Пыпин...¹ О Некрасове вообще будут появляться именно книги, всесторонне исследующие его личность и его творчество, — и еще очень долго эти книги будут широко-учеными увражами, скорее усиливающимися *закрывать* и *скрывать* настоящего Некрасова, нежели объяснить его, — будут усиливаться стесать в нем острые и непререкаемые углы и приноровить его к общему ходу российской словесности, чтобы он не «выпячивался» из этого хода, вообще-то благочестиво-наставительного, не выпадал из него, как кукушка из чужого гнезда, — но аккуратно к нему приходился, прилаживался, ну и все прочее, что «следует»... Эти «как следует увражи» хоронят одно из самых ярких явлений... не столько даже русской литературы, сколько русской культуры, и, хочется сказать, просто русской жизни, русской «бывальщины», — того, что у нас «бывает», «встречается» по многообразию и всеобъемлемости русской души.

Не нравятся эти «труды»... И прямо жалко как-то самого Некрасова, которого показывают таким благолепным и благоустроенным, явившимся «в пору» и с «новыми идеалами», — ну, а в чем их суть — «читай самого Некрасова». В такой обстановке и при таких оборотах речи на дело спускаются неясные сумерки, где ничего рассмотреть нельзя — и все обходится «чин чином» и «честь честью»... «Знаменитый русский писатель», начавший «новую эпоху», конечно — «уступающий Пушкину, но которого можно поставить «возле Пушкина»; с «своеобразными мотивами», но, однако же, «настоящий русский поэт», — любивший «русскую природу» и «русский народ». С такими «медалями» он становится в национальный пантеон, где каждый новый учитель словесности опаживает с его бюста пыль времен...

Забыв Некрасов? — Забыт. Его песенки?.. Увы, они не поются более

I

Как можно было, однако, забыть его? Смешать с другими, со «всеми». Он незабываем в своей несравненной яркости. Он не смешиваем, потому что всем противоположен. Некрасов — один. И никто его не повторил. Попытки «повторять» оборвались в начале же. Никто, в сущности, и *похож* на него не был...

Новизна и сущность Некрасова, «зерно» его личности и дела, и заключаются в том, что он не был писателем, что писателем ему быть — только «случилось». В литературу он «пришел», был «пришельцем» в ней, — как и в тогдашний Петербург «пришел», с палкой и узелком, где было завязано его малое имущество. «Пришел» добывать, устроиться, разбогатеть и быть сильным. Просто — выявление и шаг сильной личности, без всякого знания, что его впереди ожидает... Без преднамерений, без плана, без призвания!

Ведь и был он еще почти мальчик.

Он собственно не знал, как это «выйдет», и ему было все равно, — по молодости лет и без «предназначения», — *как* это «выйдет». Книжка его «Мечты и звуки», — впоследствии им самим скупленная и уничтоженная, кроме сохранившихся у «любителей» нескольких экземпляров, — в высшей степени характерна и показательна, — и важна в том именно отношении, что свидетельствует, до какой степени мало он первоначально думал становиться «писателем». Исполненная жалкими и льстивыми стихами по отношению лиц и событий, она выражает его «все равно», но нисколько не показывает неопытности или юношеской «восторженности» в отношении лиц и событий. Он приноровлялся «туда и сюда», «туда *или* сюда», не делая твердого шага. Если бы продолжалась линия и традиция людей «в случае», о которых Грибоедов сказал стихи:

На куртаге ему случилось оступиться...

 Изволили смеяться...

 Был высочайшею пожалован улыбкой...

 Упал он больно, встал здорово...²

то «пришелец в Петербург» очень мог бы выйти в люди такого «случая», с судьбой и карьерой если не при Дворе, то при доме какого-нибудь «вельможи века сего». И тогда писал бы дифирамбы «людям

века сего», века Екатерининского, века Елизаветинского, века Анны Иоанновны... Но это могло быть лет 70 назад, да и назывался он недаром уже не «Державиным», а «Некрасовым»... Есть что-то такое в фамилии, — новое, от духа новых времен... Простое, грубое, жесткое. В имени и фамилии есть своя магия звуков.

Как Бартольд Шварц³, мирный монах, производя алхимические опыты — «открыл порох», случайно смешав уголь, селитру и серу, так, марая разный макулатурный вздор, Некрасов случайно написал одно стихотворение «в его насмешливом тоне», в том знаменитом впоследствии «некрасовском стихосложении», в каком написаны его первые и лучшие стихи, — и показал Белинскому, с которым был знаком и обдумывал разные книжные предприятия, отчасти толкая вперед его, отчасти думая им «воспользоваться как-нибудь». Жадный до слова, чуткий к слову, воспитанный на Пушкине и Жуковском, на Купере и Вальтер Скотте, — словесник изумленно воскликнул:

— Какой талант! И какой топор ваш талант!!⁴

Это восклицание Белинского, сказанное в убогой квартирке в Петербурге, — было историческим фактом, решительно начавшим новую фазу в истории русской словесности.

Некрасов сообразил — и увидел далеким и практическим умом то, чего вообще не соображал в своем литературном уме Белинский. Золото, когда оно лежит в шкатулке, еще драгоценнее, чем если оно нашито на придворной ливрее. И, главное, в шкатулке его может лежать гораздо больше, чем на ливрее. Времена — иные. Не Двор, а — улица. «И улица может мне дать больше, чем Двор». А главное или по крайней мере очень важное — что все это гораздо легче, расчет тут вернее, «вырасту я пышнее и сам». «На куртаге оступиться» — старье. Время теперь перелома, время — брожения. Время, когда одно уходит, другое — приходит. Время не Фамусовых и Державиных, а «Figaro — si, Figaro — là»*...

Моментально он «перестроил рояль», вложив в него совершенно новую «клавиатуру». «Топор — это хорошо. Именно топор. Отчего же? Он может быть лирой. Время аркадских пастушков прошло».

Прошло время Пушкина, Державина, Жуковского. О Батюшкове, Козлове, Веневитинове, кн. Одоевском, Подолинском — он едва ли слышал. Но и Пушкина, с которым со временем он начал «тягаться» как властитель дум целой эпохи, — он едва ли читал с каким-нибудь волнением, и знал лишь настолько, чтобы написать некоторые параллельные ему лозунги, призывы, вроде:

* Фигаро — здесь, Фигаро — там (фр.). — Ред.

Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан⁵.

Но суть в том, что он был — совершенно новый и совершенно «пришелец». Пришелец «в литературу» еще более, чем пришелец «в Петербург». Как ему были совершенно чужды «дворцы» князей и вельмож, — он в них не входил и ничего там не знал, так он был чужд и почти не читал русской литературы и не продолжал в ней никакой традиции. Все эти «Светланы», баллады, «Ивиковы журавли», «Леноры», «Певцы во стане русских воинов»⁶, все эти Онегины и Печорины были чужды ему в сюжете своем, чужды в самом имени даже... Все эти и подобные вымыслы и темы были смешны и невозможны под пером его, вышедшего из разоренной и никогда не благоустроенной родительской семьи, из разоренной, бедной дворянской вотчины. Сзади ничего. Но и впереди — ничего. Кто он? Семьянин? Звено дворянского рода? Мать — полька, отец — странствующий с полком офицер. Обыватель? Чиновник или вообще служитель государства? Купец, живописец промышленник? «Это я-то? Ха-ха-ха!», мог ответить он. Прибавив молчаливо — «Figaro — là, Figaro — ci». Все с него спало, все от него отвалилось. И ничего к нему не пристало, ничего на него не наделось. Из всех наименований, какие мы исчислили выше, еще сколько-нибудь шло бы к нему — «промышленник»... Но — такой, который с духом предприимчивости в груди пришел в новый город и к незнакомым людям с «ничего» в кармане, а за поясом... не топор, а «перо как топор» (Белинский). Ну, он этим и будет «промышлять», как единственным орудием в руках, в обладании. Есть «промышленность» с «патентами» от правительства, и есть «промыслы» уже без патентов. И, наконец, есть промыслы великороссийские, и есть промыслы еще сибирские, на черно-бурую лисицу, на горноста, ну, и вообще на зазевавшегося прохожего...

Есть что-то родное, «свое» и жгучее, когда он поет про тароватых купчиков-коробейников, — и жгучесть эта доходит до риска, когда и около них, тароватых и плутоватых, ставит «пробирающегося по лесу» охотничка лихого... Вот где — его автобиография, к которой «Рыцарь на час» был «литературным приложением», — одной из тароватых приключений, которыми «купчики-голубчики» приманивали к своему товару...

II

Строилась идеологическая и словесная предпосылка к революции, по-русскому — к «смуте». И тут был как раз на месте Некрасов, человек без памяти и традиции, без благодарности к чему-нибудь, за что-нибудь в истории. Человек *новый* и *пришелец* — это первое и главное. Все шло

еще «пока в литературе», — и пока в литературе он повел совершенно новую линию, от «себя» и «своих», ни с чем и, в особенности, ни с кем не считаясь и не сообразуясь. Для всякого это стоило бы труда, ломки в себе и в своем образовании. Но Некрасову это совершенно ничего не стоило, по всем объясненным уже причинам. Для читателей это было «отрицанием», но для автора было просто неведением. Что такое Жуковский? Для Зейдлица⁷, для князя Вяземского, для Пушкина — это «святое имя»: но Некрасов просто его не читал, и Жуковский ему никогда даже не приходил на ум. Тут он и «топора» не вынимал из-за пояса. Литература начиналась для него с «современности», — с Белинского и Добролюбова; и тут приходил особый угол зрения вообще предпринимателя: «история торговли начинается с открытия моей лавочки, а история литературы для страстного и талантливого журналиста начинается собственно с нашего журнала». Тут вся литература ахнула, потому что почти вся она осталась «за флагом»: но тем более приветствовали его юные читатели, читавшие и знавшие ровно столько же, сколько Некрасов, а порой — даже меньше его. «Пусть Жуковский и поет про “Ивиковых журавлей”, для понимания которых еще надо справляться с мифологией: мы будем читать Некрасова, который нам пишет “Мороз, Красный нос”, вещь забавную, трогательную, над которой и поплачешь, и посмеешься».

«Величайший реалист», — а ведь это так и есть на самом деле. «Новый» и «пришелец» естественно осязает все вещи гораздо свежее, гораздо физиологичнее и «с соком, с кровью», нежели человек литературный, который и людей-то, например крестьян или чиновников, усадьбу или улицу, видит через тысячи словесных призм — своих и иностранных. Который когда «пишет», то невольно для себя впадает в тон Диккенса, Теккерея, Гюго или Гейне. У Некрасова этих «влиятельных незаметно», и потому преимущественно, что он никого из перечисленных не читал. Он брал глазом то, что *есть*, и брал свежо и сильно, метко и верно. Ибо «без помехи». Все ахнули: «Это так *хорошо* и *верно*, как ни у кого». В самом деле, его «дядя Влас», «бабушка Ненила», его «дядюшка Яков», «школьник» с сумочкой, — коробейнички, торг, —

«— Эй, Федорушки, Варварушки!
Отпирайте сундуки!
Выходите к нам, сударушки,
Выносите пятаки!»
Жены мужние — молодушки
К коробейникам идут.
Красны девушки-лебедушки
Новины свои несут.

И старушки важеватые,
 Глядь, туда же приплелись.
 «Ситцы есть у нас богатые,
 Есть миткаль, кумач и плис.
 Есть у нас мыла пахучие —
 По две гривны за кусок.
 Есть румяна не линючие —
 Молодись за пяточок!
 Видишь, камни самоцветные
 В перстеньке как жар горят.
 Есть и любчики заветные —
 Хоть кого приворожат».
 Началися толки рьяные,
 Посреди села базар,
 Бабы ходят словно пьяные,
 Друг у дружки рвут товар.
 Старый Тихоныч так божится
 Из-за каждого гроша,
 Что Ванюха только ежится...

Это до того ярко, цветисто, натурально и верно, как не было до Некрасова ни у кого; это более пахуче и «по-деревенски», чем у самого Толстого, и несравненно превосходит «красные вымыслы» Тургенева или Достоевского, не говоря уже о стариках эпохи Жуковского. Или как коробейник уговаривает «на любовь» Катю:

А всего взяла зазнобушка
 Бирюзовый перстенок...

— все это несравненно по красоте, правде и реализму... «что и требовалось доказать», как говорят гимназисты о теоремах, кладя мелок. Некрасов всех одолел.

Он произвел колоссальный разрыв в русской литературе, и натиску его никто не мог противостоять. Подите-ка вы читайте в двух томах «прелести» Гончарова: «Забятая деревня» пробегается в полторы минуты, и помнится на всю жизнь. Тут спорить трудно, — и именно потому, что так кратко. Разве могло бы победить мир Евангелие в 11 томах? А в одной книжке оно сразу и все и всеми усвоилось. Краткость — великая сила, и именно — в слове. Но Некрасов был краток, как возможно, ярк, как возможно, убедителен — беспредельно. Кто не поверит, кто не кинется радостно навстречу его «Власу», его «Школьнику»?.. И, отодвигая его перед Пушкиным и вообще перед «теми тремя» (Пушкин, Лермонтов, Гоголь), — мы и теперь скажем, когда, по-видимому,

Некрасов погас, — что его поэзия несравненно благороднее, трогательнее, душевнее, нежели гримасы и позы Грибоедова, — чем все его тирады, блестящие монологи и остроумные диалоги...

А ведь Грибоедов — какое имя в литературе! «Вечный классик». Между тем как Некрасов решительно отодвинут в сторону от «классических образцов»...

Темный, заклеванный сокол... Данный «в обиду» своими, которые не умели ни понять тебя, ни растолковать тебя... Они все «прилизывали» Некрасова, в благоразумную прогрессивную фигуру, «вроде Грибоедова», со светлыми намерениями и поучительностью. Тогда как нужно сказать ту огромную и страшную правду, что Некрасов вообще в литературе «разорвал», как совершенно инородный в ней человек, рвал ее традиции, рвал ее существо, с несравненным хищничеством, несравненно удачею, — что он все «смутил» в ней, в смысле древнего времени, все «революционировал», говоря новым языком. В «чащу» литературную, в «лес» литературный — он никак не входит. Что он был «с пером и «журналист», — случайность. Но и тут есть огромная и страшная правда. Что же такое, например, «Светлана» в пору Аракчеевской России, или «Ивиковы журавли» в крепостное право?.. Да даже и у великого, общечеловечного Пушкина — «сюжеты» и «сюжеты», «темы» и «темы»... Что такое «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и «Скупой рыцарь» в русской действительности, между Москвой и Обираловкой (станция жел. дор.), между Петербургом и Любанью?

«Люблю тебя, Петра творенье...»

Извините, «не люблю», потому что меня в нем ограбили, чуть не убили, а сыскная полиция бездействовала. Пишу для примера. «Некрасовская литература», — совершенно «дикая» в отношении всей предыдущей литературы, — страшна и истинна в том, что она есть *подлинная литература подлинной, а не вымышленной Руси*. Помните, —

Я лугами иду, — ветер свищет в лугах:
Холодно, странничек, холодно...
Холодно, родименький, холодно.
Я лесами иду — звери воют в лесах:
Голодно, странничек, голодно,
Голодно, родименький, голодно...⁸

Этого никто не сказал. И перед этим: «Чуден Днепр... никакая птица через него не перелетит»⁹, есть просто вранье и галиматья, ничему реальному не соответствующая.

Некрасову как-то удалось дать «стиль всей Руси»... Стиль ее — народной, первобытной, почти дохристианской... Стиль этой глыбы неустроенной, этой силушки, этого таланта... И — бросить все это против цивилизации, злобно — против цивилизации... Он — будто зверь, бродящий по окраине города в темной ночи и щелкающий зубами на город. И к утру — причесался, прилизался и вошел в город, но с ночным чувством; сел за стол и начал играть в карты, взял перо и начал писать стихи. И, в сущности, в одном и другом делал одно и то же — ремизил:

Холодно, странничек, холодно,
Голодно, странничек, голодно...

Некрасов — вне литературы, вдали от нее... Именно как сокол, но сидящий на высоком, одиноко в поле выросшем дереве... И смотрит он на поле, где много валяется побитой им мирной птицы.

Что же — это зоология. Зоология и — культура, которую вы никак не отделите от основного зоологического устройства.

Нужно иметь мужество признать, что кроме «полезных индеек» и «достодолжных кур» еще «водится в природе» «ни к чему не потребный» разоритель чужих гнезд — кречет... Птица не мирная, птица, с которой «нет сладу». Так в зоологии, — не иначе и в истории. Есть в ней по природе своей хищные, особливые, «вдали от всех» стоящие личности, которых «каковыми их Бог создал» — таковыми их и «принимай». Ну, — «описывай» их, в зоологии, ну — «убивай» их, если охотник. Государству и обществу с такими тоже «нет сладу». Все-то они расклевывают, все-то они расхищают, все-то они разоряют. «Медальями» их укрощают. Но на «медаль» Некрасов не пошел. Он предпочел золото. И получил, и взял. Хотел силы, видности — и тоже получил. Но больше всего хотел разорения, — и тоже, и трикраты получил. Довольно его записывать в «цехи». Ни в какие он «цехи» не войдет. «Не цеховой». Один. Темный. Страшный. Поклевал всего, чего хотел. Убил все, чего хотел. Умер. Страшно умирал. Но не «служите же о нем православной панихиды»; он ее не просит; и не идите за ним «чинно в ряд», русские историки литературы... Ибо он вовсе к вашим «изделиям» не принадлежит...

Не шуми, мати зеленая-дубровушка,
Не мешай мне, молодцу, думу думати¹⁰ —

вот что одно приличествует около его имени, памяти и гроба. Но ведь такие напевы вовсе не к лицу «Истории русской литературы»...

Черный огонь <Некрасов>

<...> несчастье. Оно бывает таковым всегда, когда за ним не стоит большого ума.

Что такое речи Церетели¹? Это прямые линии, прямые строки, всё главные предложения, не сопровождаемые никакими придаточными предложениями, где были бы оговорки, условия, где были бы указаны причины и были бы предвидены последствия. Церетели — гимназист или студент, говорящий на государственные и исторические темы. Но от того именно, единственно оттого, что он такой неудержимый гимназист, речи его ярко убедительны и совершенно вразумительны рабочим и солдатам.

«Говорит, как пишет». Но говорит-то он все «буки» и «аз», за которыми слушатели его повторяют: «ба», и совершенно счастливы, что вышел какой-то звук. «Вождь нам говорит ба — значит мы бастуем». Это совершенно кратко, но это совершенно не государственно.

Церетели сейчас упадет, едва я произнесу одно слово. Он упадет не в наших глазах, а в собственных глазах. Он сядет на место или, еще лучше, спрячется под стол, — как горошинка-республика.

Вот это слово: —

Некрасов.

Николай Алексеевич Некрасов, наш народный поэт, умерший — и так тоскливо умиравший — в 1876 г. Помните его тоскливые прекрасные песни:

...

За заставой, в харчевне убогой,
Все пропьют бедняки до рубля
И пойдут, побираясь дорогой,
И застунут...

.....

Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал.
Стонет он по полям, по дорогам,
Стонет он по тюрьмам, по острогам,
Стонет он под овинком, под стогом,
Под телегой ночуя в степи;
Стонет в собственном бедном домишке,
Свету Божьего солнца не рад;
Стонет в каждом глухом городишке,
У подъезда судов и палат.

.....
 Волга! Волга! весной многоводной
 Ты не так заливаешь поля,
 Как великою скорбью народной
 Переполнилась наша земля —
 — Эх, сердечный!
 Что же значит твой стон бесконечный?
 Ты проснешься ль, исполненный сил?²

Вот она, полная русская революция. Весь очерк ее, от 1876 г. и до 1917 г. И вот, окинув глазом всю Русь, все народы, ее населяющие, спросим, воззовем:

- Церетели? — Или же:
- Некрасов?
- Кого выбираете? За кем идете?

Может ли быть какое-либо сомнение, что все кинутся за Некрасовым, кинутся с воплем:

— Вот кто нас освободил, вот кто был нашим вождем, вот за кем мы поднялись во всем громадном очерке судеб и истории. Мы поднялись уже с 60-х годов истории: а эпизод февральских и мартовских дней, это самовозгорание трех проволок народного электричества — совершенная мелочь и случай.

И между тем Церетели назвал грубо мавром, «ненужным более мавром», не одних депутатов четырех Дум, а и Некрасова, без коего несомненно никаких бы Дум не было, никакого конституционализма бы не было.

Русскую свободу, и рабочим и солдатам, больше всего принес Некрасов. Как же можно бросать в лицо солдатам слово, что Некрасова больше не нужно? А этот смысл имело слово Церетели. Каким образом мог так Церетели говорить? Почему это он мог сказать? Да потому, что он прекрасный грузин, и о русской истории и о тоске русских песен — об их особенной тоске и особенной глубине — знает только из третьих рук, понаслышке, насколько песни Некрасова долетели и до Грузии. Мы же знаем их родным ухом, родным сердцем. И для нас Некрасов вовсе не то, что постановление какого-то Циммервальдского съезда социалистов³, о котором там, приблизительно, «начихать». Несчастье и болезнь русской революции заключается в том, что задуманная русским умом и русским сердцем (Некрасов, Салтыков, Михайловский), совершенная русскими руками (4-я Госуд. Дума, рабочие и солдаты) и при русском риске головою, — она, в хвосте своем, в результате своем, попала в космополитическое обладание вовсе не русских людей, а инородцев по крови или инородцев по идее (марксизм). Мы разломали

«парадный подъезд» власти и ввели избу во дворец. Это русское дело, русская история. Вдруг зрелище меняется: на месте русских людей очутились космополиты, которые нам громко заявляют, что революция спасет не русский народ, не русское дело, — а должна преследовать всемирное дело, задачи и темы всемирного пролетариата (неосторожные части речи кн. Львова⁴, ссылки на нее кн. Церетели). Что она должна быть каким-то княжеским делом, царственным делом, мечтательным делом, а не делом русского крестьянства, русского рабочего.

В бурных и вместе скромных замыслах Некрасова, Салтыкова, Михайловского, тоже в скромных замыслах 4-й Думы и всех четырех Дум она носила всегдашние черты русской непритязательности, русской тихости, русского своевольного, своежелательного самоограничения. «Нам нужно совершить свое русское дело, освободиться от своих тиранов, — от разбойника, напавшего на дороге».

Это — право. Тут закон, тут нравственность.

Вдруг ее переводят в хвастовство. «Нет, что, это мало. — Мы спасем весь мир». Орудие такого перевода — мечта, мечтательность. Мечтательность внутренне, а снаружи хвастовство.

Вопрос спасения для русской революции заключается именно в русском здравомыслии, в русском здравом смысле. Если она удержится в своей тихости, в своем самоограничении, Россия освободится от Романовых и для русских настанет действительно золотой сон Русской Великой Общины, Русского народного Великодержавия. Сбудутся сны Некрасова и всей золотой русской литературы.

Победит ли здравый смысл? — вот в чем вопрос.

Но уже сделан, к несчастью, сделан, второй шаг анархии. Принцип анархии, допустимый и абсолютно необходимый, заключается в том, чтобы совершить один анархический шаг, — именно для спасения бытия своего. — Бытие, продление жизни, есть единственная такая ценность, ради которой дозволен анархический шаг.

И — больше ни для чего. Ни в каком случае он недопустим для мечты, для расширения бытия своего. Как и в войне: она допустима для защиты, и она недопустима для завоевания. Первая же завоевательная война переходит в беспредельную хронику войн. В них гибнут Наполеон и Тамерлан, ничего в сущности «не завоевав», не завоевав «в конце концов». В анархии то же самое. Второй анархический шаг, как только он допущен, переводит всю страну в анархическое состояние, которое доходит до естественной могилы своей — диктатуры. Жизнь спасает себя; бытие спасает себя. «Нужно жить»: и наступает покой.

Совет рабочих депутатов, без всякой нужды, без всякой необходимости, без всякого с чьей либо стороны уполномочия — и не спасая решительно ничего для России, — грубо, жестко и хвастливо пошел

против Временного правительства. Этим он открыл эру анархии, и не ему на нее жаловаться. А он жалуется, и уже «Известия Совета Рабочих Депутатов» выпустили первую статью против анархистов, но кто же будет его теперь слушаться, когда он сам не слушался? Кто будет исполнять его мечту, когда он сам ради своей мечтательности не постеснялся принести ей в жертву нужду русского народа?

Никто не будет слушаться. Мы уже состоим в положении анархии. Третий шаг, который сделает наша, увы, мечтательная революция, — есть шаг к диктатуре. И неужели для нее ждать тоже только два месяца? Появится какой-то третий, уже совершенно черный мавр, который скажет те же слова Церетели и Совету Рабочих и Солдатских Депутатов, какие Церетели сказал о четырех Думах, сказал, в сущности, о Некрасове, о всей золотой русской литературе.

— Мавр, ты сделал свое дело. Ты больше не нужен и уходи вон.

Будет ли этим мавром германец в Петрограде, будет ли этим мавром Ленин, будет ли им, наконец, какая-нибудь очень темная личность, засевшая в самом Совете Рабочих и Солдатских Депутатов, похитрее Церетели, Чхеидзе и Скобелева⁵, — мы не знаем. Но можно сказать по-итальянски: *Revolutio annunciata era*, — революция была зачата; *Revolutio finita est* — революция окончилась.

— Эй, капрал, кто же ты? Черный, страшный капрал. Бери скорей палку и разгоняй скорей всех вон. Ибо мы свободу сделали, но мы свободы не заслужили.

По-видимому, мы не дождемся Учредительного Собрания. Ибо роль Учредительного Собрания уже захвачена «не зваными и не избранными». Это — Совет Рабочих Депутатов, — и не он в сущности. Ведь по естественной темноте рабочей массы и солдатской массы, ограничивающей его совершенно неодолимо, [Совет] повинуетя двум-трем лицам, коих московская печать уже называет «тиранами». Дело вовсе и не в «классовой борьбе», не в «классовой победе». Дело в «победе» фантазии и произвола отдельных немногих лиц, которые приняли на себя задачу руководить историею, руководить Россией, хотя сами они ростом не более Шлиссельбургской республики.

